

Двойной портрет

Какое все-таки счастье, что жена так слепо верит ему! Сейчас она войдет, не стучась, смешно шурясь (она скрывала близорукость), и спросит значительно: «Ну как?» — хотя ничего не произошло и не могло произойти за ночь.

Снегирев вскочил и стал делать гимнастику, поглядывая не без удовольствия на собственное отражение, мелькавшее в стеклянной двери балкона. Раз-два! Он почти не сомневался, что анонимное письмо написала Шахлина или та рыжая, которая никак не может забыть, что как-то в Керчи, от нечего делать... Он легко приседал, выбрасывая руки.

День был солнечный, за просторными окнами неподвижно стоял морозный воздух, пронизанный светом снега и солнца. Раз-два! Лежа на спине, Валерий Павлович делал «ножницы», ритмично раздвигая ноги. Да, часов в шесть он позвонит Ксении. Он подумал о ее ногах, розово-смуглых, с тонкими лодыжками, еще загорелых с лета. Не слишком ли часто? И вообще, не много ли женщин? Все-таки уже не тридцать. И не сорок.

Он не мог удержаться от смеха, когда, осторожно ступая длинными ногами, в болтающемся халате, жена вошла и спросила:

— Ну как?

...Шахлина или та, рыжая, фамилию которой Мария Ивановна никак не могла запомнить. Эти девчонки! Они все влюблены в Валерия Павловича, ревнуют, способны на гадость. Нет, письмо — вздор! И она умно поступила, показав его мужу. Но как быть с Алешей?

Она надела халат и пошла будить Валерия Павловича. Он уже делал гимнастику, розовый, со спутанными волосами, и когда Мария Ивановна показала на пороге, засмеялся и сказал:

— Все в порядке.

Чувство озабоченности, которое Мария Ивановна постоянно испытывала по отношению к мужу, к его делам, настроению, здоровью, не то что исчезло, но как бы отошло в сторону, когда она оделась к утреннему кофе. Она считала, что именно к завтраку нужно одеваться тщательно и даже нарядно. В черном платье, которое — она это прекрасно знала — особенно шло к ней, она вошла в столовую, где Валерий Павлович уже сидел за столом, небрежно просматривая газеты. Сказать или нет? Глядя на мужа, свежеевыбритого, молоджавого, аппетитно жующего, с круглыми блестящими глазами, она думала о том, как неприятно будет ему узнать о проступке Алеши. Но сказать все-таки необходимо. Алеша учится в одном классе с Женей Крупениным, а Женя мог рассказать об этой истории дома.

— Лариса Александровна звонила, что ей лучше. Подумать только, после второго сеанса. — Мария Ивановна лечила знакомых сердоликом, хотя окончила институт Театрального искусства.

Валерий Павлович промолчал, и она обратилась к другой теме. Она привыкла к тому, что муж начинает слушать ее не сразу.

— Матрешу просто не узнать после того, как умер Павел, — сказала она оживленно. — До неузнаваемости

поправилась и похорошела. Естественно! Вечно с синяками ходила.

Матреша была лифтерша, а Павел — ее муж, слесарь-водопроводчик.

Мария Ивановна покровительствовала лифтершам, домашним работницам, маникюршам. Она была из рода Козодавлевых и любила повторять, что на самом деле Козодавлевы — это старинная шведская фамилия Коос-фон-Даллен.

Валерий Павлович опять промолчал, и она решила наконец перейти к делу:

— Прекрасный молодой педагог, которого на последнем родительском собрании называли находкой для школы. Почему мальчики вдруг ополчились на него — загадка! Причем именно Алеша, у которого, кстати, по истории всегда были пятерки.

Валерий Павлович поднял глаза от газеты:

— А что случилось?

— Решительно ничего.

— Все-таки?

— Алеша сказал грубость историку и получил тройку по поведению.

Валерий Павлович отложил газету:

— Он дома?

— Да, но только...

— Позови его.

Мария Ивановна умоляюще сложила руки, но у него опасно потускнели глаза, и она торопливо пошла за сыном.

Алеша вошел, потупясь, и сказал:

— С добрым утром.

Он был похож на мать — длинный, бледный, с широко расставленными глазами.

— Алеша, расскажи отцу... За что ты получил тройку по поведению?

— Я писал контрольную, а Геннадий Лукич подошел и отобрал.

— Почему?

— Не знаю. Очевидно, решил, что я списываю у Женьки.

— И это все?

— Да.

— Неправда, Алеша, — возразила Мария Ивановна. — Ты сказал ему грубость.

— Не сказал, а прошептал. Я не виноват, что он слышал. Вообще, я не списывал.

— Допустим. Но все-таки... Что ты ему сказал?

Алеша не ответил. Он вынул из кармана какую-то монету и стал вертеть ее в пальцах.

— Говори! — бешено крикнул Валерий Павлович.

Алеша вздохнул:

— Я исправлю тройку.

— Что ты ему сказал, я спрашиваю!

Алеша покраснел болезненно, слабо. Он смотрел в сторону, с трудом удерживая дрожащие губы.

— Если вы непременно хотите знать, я сказал, что он сволочь.

— Что?

Алеша поднял глаза на отца, вскрикнул и побежал к двери. Мария Ивановна догнала его:

— Алеша, я очень прошу тебя... Должна же быть причина... Еще в прошлом году...

— Потому что он сволочь, сволочь, сволочь! Из-за него честных людей расстреливали. Он гад!

Алеша выронил монету, покотившуюся к ногам Валерия Павловича, кинулся за ней, но отец уже поднял монету.

— Ах вот в чем дело! Тогда сядем. — Он взял стул. — И поговорим спокойно.

— Валерий, я прошу тебя... Тебе вредно волноваться.

— А я и не волнуюсь. — Валерий Павлович вертел в руках монету. — Видишь ли, в чем дело, Алеша... Ты осмелился обвинить своего преподавателя в тяжелом преступлении. На каком основании? У тебя есть доказательства? А если это клевета? Нет, Алеша, преступление в данном случае совершил не он, а ты. И называется оно — ты еще не знаешь этого слова — инсинуацией. Кстати, откуда у тебя эта монета?

— Выменял.

— Старинная?

— Да.

— Ты сегодня же извинишься перед историком, — пряча монету, сказал Валерий Павлович.

— Разумеется, — поспешно подтвердила Мария Ивановна, взглянув на сына, который, упрямо опустив голову, направился к двери. — Тебе пора, Валерий.

Алеша обернулся.

— Отдай монету, — прошептал он.

Валерий Павлович сделал вид, что не слышит.

— Иди, Алеша, — сказала Мария Ивановна.

— Пускай он отдаст монету.

Валерий Павлович засмеялся.

— Ладно, тогда давай меняться, — с неожиданным добродушием сказал он. — Твоя монета — мои марки. Ты ведь собираешь с портретами?

— Да.

— Я тебе знаешь какого Людовика Восемнадцатого достану — только держись!

— При Людовике Восемнадцатом марок не было.

— Ах, не было? Тем хуже для него. Ну, иди сюда.

Он обнял сына за плечи.

— Мир!

В кабинете зазвонил телефон, и Валерий Павлович вышел из столовой. Ему хотелось закрыть за собой дверь — это могла быть Ксения, но он сделал над собой усилие и не закрыл.

- Валерий Павлович?
- Да.
- Сотников, из парткома. Зайдите к нам, Валерий Павлович.
- Что случилось?
- Ничего особенного. Тут справлялись о вас.
- Кто?
- Какой-то Кузин, из газеты «Научная жизнь».
- Что ему нужно?
- Зайдете?
- У меня лекция в час.
- Вот перед лекцией и зайдите.

3

Валерию Павловичу не понравилось, что им заинтересовалась газета, потому что у него были враги, и эти враги, до сих пор сидевшие тихо, оживились теперь, зимой 1954 года. Оживился, например, старый маньяк Кошкин. Мелькнула здесь и там в научных журналах фамилия Остроградского. Это было неприятно, хотя Валерий Павлович, разумеется, ничего не имел против его возвращения.

Перед лекцией он зашел в партком. Сотников ждал его. Да, приезжал какой-то Кузин из газеты «Научная жизнь», спрашивал, — ну, черт его знает, обо всем на свете! Почему-то интересовался защитой дипломных работ. Потом заговорил о вас. Что вы делаете? Где напечатаны последние работы?

- Что же вы ответили?
- Правду.
- Именно?
- Я сказал, что вот уже добрых двадцать лет вы читаете лекции. А насчет работ посоветовал зайти в библиотеку за справкой.
- И больше ничего?

— Да. Впрочем, нет. Уходя, он спросил о Черкашине. Известна ли мне причина самоубийства?

— Что же вы ответили?

— Не известна.

— И больше ничего?

Сотников засмеялся:

— Спросил еще — с какого этажа? Я сказал, что с одиннадцатого. Обывательское любопытство.

4

Статья «Совесть ученого» была запланирована в сентябре 1954 года, и то, что узнал Кузин, еще раз убедило его в необходимости появления этой статьи. Точнее было бы сказать, что его убедило не то, что он узнал, — он почти ничего не узнал, — а настойчивое стремление секретаря парткома внушить ему, что подобная статья может принести только вред. С этим Кузин никак не мог согласиться.

Фальсификация в естествознании давно стала бедствием, и необходимо было доказать, что оно не только обходится очень дорого, но и подрывает наш авторитет за границей. Еще недавно, при Сталине, писать об этом было не только опасно, но невозможно. Теперь положение изменилось, и Кузин энергично убеждал начальство, что газета больше не имеет права делать вид, что бедствия не существует.

Кузин был «разработчиком» — редакция держала несколько сотрудников, занимавшихся главным образом проверкой и подготовкой материала. У него была странная внешность — острый, кривоватый нос, острый кадык на длинной шее, седеющие волосы, падающие на лоб, глубоко сидящие, вспыхивающие глаза. Он был похож на Дон Кихота. Приятели-художники рисовали его пятью острыми углами. На самом деле это был ан-

типод Дон Кихота — трезвый человек, не любивший терять времени даром.

В крошечной комнатке отдела естествознания он ждал звонка Горшкова, своего шефа, опытного журналиста. Человек мнительный, осторожный, Горшков умело пользовался инерцией известности, позволявшей ему в течение многих лет сохранять солидное положение. И теперь, думая о предстоящем разговоре, Кузин нервно морщился, представляя себе квадратное лицо шефа и толстые руки, нерешительно перелистывающие разработку. А ведь она была хороша! Правда, Кузин почти не коснулся атмосферы, в которой обычно возникает фальсификация. Это завело бы его слишком далеко. Не написал он, к сожалению, и о секретности, хотя ему было совершенно ясно, что фальсификация почти всегда опирается на секретность, как это было, например, в знаменитом деле Прошьяна.

Но все-таки Кузин отвел душу. Втайне он надеялся, что когда-нибудь его разработки дойдут до ЦК и произведут соответствующее впечатление. Был же подобный случай в «Литературной газете»!

Как все разработчики, Кузин мучительно хотел печататься. Он мечтал о больших, в три колонки, статьях, вокруг которых закипали бы споры. Он видел свои подвалы перепечатанными в «Правде» с кратким, но лестным для него редакционным примечанием... Иногда печататься удавалось. И всякий раз это был праздник, хотя его заметки — он это знал — были написаны принужденно и сухо.

Впрочем, на этот раз не было никакой надежды, что Горшков поручит ему написать статью. Вопрос был серьезный, и автора надо было найти серьезного, с именем. Задача! Он мысленно перебрал несколько имен. Но этот — он решил — не возьмется, а тот не тянет. Третий был политически хорош, но статья была бы одно временно и резкой, и скучной.

Наконец Горшков вызвал его. На этот раз он держался уверенно — должно быть, позвонил главному редактору и получил благословение.

— Кому поручить?

— Алексей Сергеевич, а что, если мы попросим...

Он назвал фамилию.

— Откажется.

— Почему вы думаете? Он же пишет о людях науки?

— Намучаешься с ним, — вздохнув, сказал Горшков. — За каждое слово будет цепляться.

— Зато, если он заинтересуется материалом, он хорошо напишет. Я поговорю с ним, хорошо?

— Поговорите. Ничего не выйдет.

— А я думаю, выйдет. И вы знаете почему? Помните историю студента Черкашина?

— Да, но при чем же здесь...

— Алексей Сергеич, у него в романах постоянно такие истории. Он согласится.

5

Ольга, вдова студента Черкашина, жила на Кадашевской набережной, в квартире, переделанной из подвала. Эти квартиры и до сих пор обращают на себя внимание своими окнами, против которых стоят буквой «п» кирпичные стеночки, огораживающие от осенних дождей и весенних разливов.

Быстрая, никогда не жалующаяся, Черкашина мертвела, думая о том, что ее шестилетняя дочка, которую тоже звали Олей, может заболеть от постоянной сырости. Она ненавидела длинный, с каменным полом коридор, освещенный единственной лампочкой, эти неудобные длинные комнаты — свою и соседей, — которые когда-то были второпях нагромождены да так и остались на добрые полстолетия. Давно пора было обменять комнату, да кто же согласится переехать в подвал?

В райсовете от нее приняли заявление, на работе — в Библиотеке иностранной литературы — обещали помочь. Но все это было туманно, неопределенно. Надо было действовать, хлопотать, скандалить, может быть, дать кому-то денег, в которых она сама постоянно нуждалась... Она не умела ни хлопотать, ни скандалить. Вся надежда была — уже не первый год — на Мишу Лепесткова.

Черкашина была худенькая, беленькая, с косящим взглядом, в котором мелькало вдруг что-то неожиданное, опасное. Может быть, потому, что она, как ни старалась, была одета и причесана небрежно, она производила впечатление воздушности, беспечности...

В этот день пришлось задержаться — ее помощница по экспедиции перепутала адреса на заграничных бандеролях. Правда, соседка обещала привести Оленьку из детского сада. Но нужно было постирать для нее на завтра, помыть посуду и наконец ответить на письмо Платона Васильевича, отца ее покойного мужа.

Все это — кроме письма — надо было закончить до девяти, потому что в девять собирался зайти Лепестков, а она не любила при нем возиться с хозяйством. Он сердился: «Что я за гость?», кидался помогать ей, а однажды, дожидаясь ее прихода, перемыл вместе с Оленькой посуду.

Он так часто бывал у Черкашиных, что соседи в конце концов перестали интересоваться их отношениями — супружескими, как они полагали. Все же двери приоткрывались одна за другой, когда, нагруженный покупками, он стремительно пробежал по коридору, плотный, плечом вперед, крепко ставя кривоватые ноги.

Миша был другом покойного Бориса Черкашина, но не по университету, а по фронту. Два года — сорок третий и сорок четвертый — они воевали вместе. В университете они оказались на разных курсах — Лепест-

ков поступил годом раньше. Разошлись и интересы: Черкашин занялся рыбным хозяйством, Лепестков — физикой моря. Они встречались редко. Но в предсмертной записке Борис просил друга позаботиться о двух Олях.

С тех пор прошло пять лет в этой комнате с узким окном, из которого, только изогнувшись, можно было увидеть небо. Когда Черкашина уставала от вечного страха за Оленьку, от воспоминаний, от бессонных ночей, ей приходила в голову простая мысль, что все могло бы измениться, если бы Миша... Но мысль приходила и уходила. Молчал и он. И Черкашина напевала, поправляла летящие волосы, смеялась, болтала и, слушая, как Миша выговаривает ей за неумение жить, вдруг поднимала на него влажные, разбегающиеся глаза.

...Все было бы сделано вовремя, если бы не испортилась плитка — по вечерам Ольга Прохоровна не пользовалась керогазом. Правда, пока она ее чинила, дочка приготовила себе постель, прибрала со стола, помыла посуду — у нее были ловкие ручки. Вода согрелась, голенькая Оля, с заплетенной косичкой, встала в таз, и мать стала весело растирать ее губкой. Обе раскраснелись, растрепались.

— А летом к деду Платону поедem... — приговаривала Черкашина. — Дед хороший, с палочкой, слепенький.

В дверь постучали. Они не слышали. Постучали еще раз, и Черкашина, думая, что это Миша, крикнула:

— Войдите!

Незнакомый человек в осеннем пальто и зимней пыхжиковой шапке — это был Кузин — приоткрыл дверь.

— Извините.

— Одну минутку. Подождите, пожалуйста, в коридоре.

Черкашина прибрала в комнате, уложила дочку и, наскоро причесавшись, сменила халатик на платье.

— Мама, это дед Платон? — звонко спросила Оля.

6

Кузин пришел к Черкашиной, чтобы дополнить свою разработку. В истории ее мужа были неясности, подсказавшие Кузину соображения, которые могли заинтересовать автора будущей статьи. Как человек деликатный, он заранее обдумал разговор и начал его издалека. Ему немного мешало, что Черкашина оказалась такой молодой, бело-розовой, с кое-как закрученным узлом волос на затылке. К ней совсем не подходило слово «вдова», скорее она была похожа на невесту.

— Снегирев? — как будто не поверив ушам, переспросила она.

И с этой минуты начались странности, изумившие Кузина. Черкашина побледнела, черты ее опустились, и когда, помолчав, она взглянула на Кузина, в ее глазах было не прежнее беспечно-заинтересованное выражение, а строгое и тревожное. Что-то как будто замкнулось в ней, она начала отвечать медленно, глядя в сторону, неопределенно. Да, ее муж работал в снегиревской экспедиции летом 1948 года. Отношения? Тогда были хорошие. Со Снегиревым и не могло быть других.

— Что это значит?

Она промолчала. Кузин заметил, что, насколько ему известно, многие находятся со Снегиревым в плохих отношениях. Опять промолчала. Разговор стал отставливать, спотыкаться.

— Простите, Ольга Прохоровна, что я вынужден коснуться... Я понимаю, что этот вопрос для вас... И если вы...

В дверь постучали. Черкашина поспешно сказала:
— Войдите!

Плотный мужчина, лет тридцати, неуклюже, плечом вперед, протиснулся в комнату.

— Ох, как хорошо, что вы пришли, Миша! — повеселев, сказала Черкашина. — Познакомьтесь, это товарищ из газеты.

Мужчина неторопливо повесил полушубок на гвоздь. У него было красное лицо с туманными и, как показалось Кузину, лишенными всякого выражения глазами. Он назвал себя: «Лепестков», взял стул и приготовился слушать.

— А Снегирев знает об этой статье? Которую вы собрались написать?

— Может быть, и не я.

— Это все равно... — пробурчал Лепестков. — Важно, знает или не знает. Потому что если он знает... Ну, словом, тогда не выйдет.

— Почему?

Лепестков стал смотреть в потолок.

— Такой уж он влиятельный человек? — спросил Кузин.

— Да.

— Хороший ученый?

— Ну нет!

— Так в чем же дело?

Лепестков опять замолчал. Взвешивающее, оценивающее выражение прошло по его лицу. «Кто тебя знает, кто ты такой? И почему я, собственно, должен говорить с тобой откровенно?» Так Кузин расшифровал его размышления.

— Послушайте, вы видите меня в первый раз. Но, поверьте, я ничего не хочу, кроме как добраться до истины, а по всему видно, что вы могли бы помочь. Допускаю, что ко мне у вас недоверчивое отношение, но в данном случае...

Лепестков смотрел в потолок. Черкашина без всякой надобности поправила на спящей девочке одеяло.

— Послушайте, я прекрасно понимаю. Приходит человек с улицы, даже не приходит, а врывается... Но ведь не в интересах же Снегирева поднимать эту историю?

Лепестков что-то вопросительно пробормотал. Черкашина кивнула.

— Что?

— Нет, это я Ольге Прохоровне сказал. Вот что, пойдемте куда-нибудь отсюда. Мне пора. Если вы можете проводить меня до метро, я вам кое-что расскажу.

Он надел треух и полушубок, кивнул Черкашиной и, не дожидаясь, пока Кузин попрощается, вышел.

7

— Я ушел, потому что не хотел при Ольге Прохоровне говорить о ее муже. Ведь вы о Борисе хотели ее расспросить?

— Да.

Они шли по Кадашевской набережной, пар клубился над темной, почему-то не замерзшей водой. Люди в кожных в клубах пара что-то делали на барже, от которой ползли к берегу толстые грязные змеи кольчатых труб.

— Я знаю, что вас интересует, и могу рассказать, хотя убежден, что из этого до поры до времени ничего не выйдет. Дело в том, что эта история — частность.

— Хороша частность!

— Именно так. Если сравнить самоубийство Черкашина с тем, что тогда происходило в науке...

— Вы имеете в виду биологию?

— Да, в широком смысле. Так вот, если представить, что перед вами — театр, скажем трагедия Шекспира, это самоубийство... Ну, скажем, какой-нибудь Яго осту-

пился, слегка подвернув ногу. А спектакль идет своим чередом. В этой истории Снегирев именно слегка осту-
пился. Его пожурили, тоже слегка, а потом... Кому охота ссориться с таким человеком?

— С каким таким?

— Да уж с таким...

— Мне охота.

— Вы другое дело. Вы не биолог, не ихтиолог, не пишете диссертаций и не нуждаетесь в жилплощади.

— Как раз нуждаюсь.

— Все равно. Вы — человек другого круга.

— Пожалуй, — смеясь, сказал Кузин. Ему нравился собеседник. И Лепестков не без любопытства поглядывал на кривой нос, торчавший из-под низко надетой пыжиковой шапки, на острые плечи, на всю нескладную длинную фигуру Кузина.

Они прошли через Малый Каменный, цветные лампы на кино «Ударник» сонно просвечивали сквозь молочный воздух. В пустом сквере одиноко бродили закутанные бабы-сторожа, прошла, громко разговаривая, компания молодежи.

— Так вот Черкашин. Он писал стихи.

— Да?

— Плохие. И биологом он был плохим. Он очень хорошо воевал. Не потому, что был человеком военным, а потому, что война была для него... Ну, не знаю. Чем-то вроде искупления. Он был человеком фанатическим, предававшимся делу без оглядки. Истовым и неистовым.

— То есть?

— Ну, это вроде каламбура. Одно у него не мешало другому. Вдруг сожмет зубы, побелеет. Мог убить. На войне ведь убивали по-разному. Он — свято. Кроме того, он был с корнями...

— В социальном смысле?

— Именно. Всех своих односельчан он прекрасно знал, бедствия их волновали его постоянно. Он возму-

щался, кипел, куда-то писал. Колхоз был рыбачий, где-то под Керчью, и его ихтиология взялась именно оттуда. Он намеревался после вуза вернуться в колхоз. Вы замерзли?

— Да. Но это не важно. Рассказывайте. Интересно.

— Зайдем в магазин, возле «Ударника», и погреемся. Там можно даже, кажется, выпить у стойки.

— Я не пью, у меня язва.

— Вот от язвы как раз и лечатся водкой.

У стойки можно было выпить только шампанское. Они постояли, греясь, искоса поглядывая друг на друга. Дверь хлопала, люди входили красные, с заиндеветыми волосами. Морозный воздух врвался, клубился и таял.

Кузин, который не ел с утра, купил сладкую булку и съел. Они еще немного поговорили о язве.

— На чем я остановился? А, да! На факультете Борис попал к Снегиреву. Не сразу, а на четвертом курсе, когда тот взял его с собой в экспедицию на Каспийское море. Это была экспедиция... Словом, наблюдения Бориса не устроили Снегирева.

— Почему не устроили?

— Потому что у Снегирева была работа... Гм, тут бы надо кое-что объяснить. Работы не было.

— То есть?

— Работа — и притом вполне удавшаяся — принадлежала другому человеку, а Снегирев как раз стремился ее опровергнуть.

— Зачем?

— Ну-с, это длинная история. Не вдаваясь в подробности: он взял с собой Бориса, чтобы тот подтвердил его возражения, а Борис... Вот тут и началось! Он долго не решался поговорить со Снегиревым, и мы его готовили — Ольга и я. Это было трудно. Он кричал, а Ольгу даже побил.

— Не может быть!

Лепестков промолчал. Он снял треух и вытер носовым платком вспотевший лоб и слегка выющиеся не красивые волосы. Его и без того красное лицо еще покраснело.

— Словом, уговорили мы его, он пошел, а вернулся уже полусумасшедшим. Снегирев выслушал его, швырнул в лицо статью и сказал: «Не может этого быть!»

Кузин вынул записную книжку.

— Пожалуйста, — сказал Лепестков в ответ на его вопросительный взгляд. — Кстати, это была не статья, а диплом. А когда Борис стал возражать, Снегирев ответил ему буквально следующее: «Необходимо доказать, что я прав, а на ваши данные мне наплевать». И вот что любопытно... Вам трудно судить, вы Черкашина не знали. В нем было что-то от протопопа Аввакума — подохну, а тремя перстами креститься не стану! Я ни минуты не сомневался, что он упрется, — именно так он вел себя на войне. Ведь от него потребовали ни много ни мало, чтобы он стал другим человеком. Конечно, Снегирев не осмеливался требовать впрямую, он намекал, но намек был ясный: «Не подделаешь — не допущу к защите».

В магазине стало шумно. Женщины стали ругать продавщицу, отпустившую яблоки без очереди: «Та стояла, эта не стояла». Они ушли.

— Теперь куда? — спросил Лепестков.

— Куда хотите.

— Может быть, ко мне? На улице записывать неудобно. Я живу недалеко, на Ордынке.

— Я вас не стесню?

— Ничуть. Правда, у меня скромно. Зато тепло.

Они пошли назад через мост.

— Ничего, вы рассказывайте, — попросил Кузин. — Я запомню, а потом запишу.

— Ладно. Так вот. Надо было подчистить данные и на основании новых, взятых с потолка, доказать, что

Снегирев прав. Шутка ли? Но тут подошла весна, я должен был ехать на практику, и Борис мне сказал: «Если подделаю, удавлюсь». Тут же он стал доказывать, что, в сущности, диплом — вздор, а главное — окончить и вернуться в село. Он как будто убеждал меня, что ему ничего не остается, как подделать данные, — и тут же, между прочим, шутил и ломался. Он был из тех глупо-порядочных людей, которые в безвыходном положении начинают вести себя странно — не то каются, не то ерничают.

Лепестков полез в карман за носовым платком.

— Я уехал, — продолжал он, шумно высморкавшись. — Так что все прочее расскажу уже с чужих слов. Во двор и налево...

Они прошли под низким сводом ворот. Старый двухэтажный флигель стоял в глубине двора. Здесь было не по-городскому тихо, скрип снега стал слышен под ногами. Над флигелем плыла зимняя, полная, еще золотая, но уже просвечивающая голубизной луна.

— Сюда, — сказал Лепестков. К здоровенному каменному флигелю была пристроена деревянная боковушка, в которой уютно светилося оконце. — Сам выстроил. Конечно, не своими руками. Впрочем, до некоторой степени и своими.

Пристройка состояла из просторного тамбура, в котором было так же холодно, как на дворе, и маленькой комнаты, прибранной и довольно уютной. Круглая печь была, видимо, недавно натоплена. Над столом выгибала длинную шею чертежная лампа. Вдоль глухой стены стояла высокая, почти до потолка, книжная полка, в которой здесь и там были устроены закрытые шкафчики. «Для белья», — подумал Кузин и сразу невольно сказал: «Ого!», увидев в одном из шкафчиков, который открыл Лепестков, много винных бутылок разного размера и вида.

Лепестков поставил на стол коньяк.

— Да, черт, совсем забыл! Вы не пьете. Так, может, устроить для вас чай? Мигом!

— Спасибо, не надо.

Взглянув на часы, Кузин достал крошечный пузырек с белыми шариками. Он высыпал шарики на ладонь, отсчитал восемь и слизнул с ладони.

— Гомеопатия?

— Да.

— Помогает?

— Кто его разберет. Говорят — да, если по часам есть. А я видите как... Зачем-то булку сожрал в магазине. То там ухватишь, то тут.

8

— Стало быть, я уехал до осени. И вот что произошло после моего отъезда: Черкашин подчистил данные, причем, видимо, торопился, потому что это было сделано кое-как, неумело. И все-таки удался номер! Торопясь доказать свою правоту, Снегирев поручил Борису прочитать доклад на студенческой научной конференции. Что было делать? Он согласился. На этой же конференции был показан фильм, снятый экспедицией, и хотя во время демонстрации произошло досадное недоразумение — победа была полная. И через несколько дней Черкашин покончил с собой — и надо сказать, обдуманно. Кто-то из его земляков остановился в гостинице «Москва», Борис зашел к нему, поболтали, выпили. Потом земляк пошел принимать душ, а прежде, заметьте, принял душ и надел чистую рубашку Черкашин. Когда земляк вернулся, номер был пуст и на столе лежала записка. Это была одна из многих записок. Он и в деканат написал, и отцу, а жене, между прочим, ни слова.

— Вы сказали «через несколько дней»?

— Да.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	5
НАУКА РАССТАВАНИЯ	191